

Оглавление

Неужто же я не гений?	3
Часть первая	15
<i>Глава I.</i> Автопортрет в жанре житейских историй	17
<i>Глава II.</i> Внутриматочные воспоминания	47
<i>Глава III.</i> Рождение Сальвадора Дали	57
<i>Глава IV.</i> Ложные детские воспоминания — про то, чего не было	60
<i>Глава V.</i> Подлинные детские воспоминания — про то, что было	96
Часть вторая	167
<i>Глава VI.</i> Пора юности — Кузнечики — Изгнание из гимназии — Конец войны в Европе	169
<i>Глава VII.</i> “Это” — Философические штудии — Неутоленная любовь — Технические эксперименты — Мой “каменный век” — Конец всяческой любви — Смерть мамы	199
<i>Глава VIII.</i> Обучение славе — Изгнание из мадридской Школы изящных искусств — Дендизм — Тюрьма	222

<i>Глава IX.</i>	Возвращение в Мадрид — Окончательное изгнание из Школы изящных искусств — Поездка в Париж — Встреча с Галой — Начало нелегкой идиллии моей единственной любви — Меня исторгают из дому	290
<i>Часть третья</i>		377
<i>Глава X.</i>	Приобщение к светской жизни — Костыль — Аристократия — Отель “Замок” в Карри-ле-Руэ — Лидия — Порт-Льигат — Изобретения — Малага — Бедность — “Золотой век”	379
<i>Глава XI.</i>	Моя борьба — Мое участие в сюрреалистической революции и моя позиция — Сюрреалистический предмет против пересказа сновидений — Параноико-критическая деятельность — Против автоматизма	420
<i>Глава XII.</i>	Слава в зубах — Дрожь между ногами — Гала — первооткрывательница и вдохновительница классицизма моей души . . .	506
<i>Глава XIII.</i>	Метаморфозы — Смерть — Воскрешение	516
<i>Глава XIV.</i>	Флоренция — Мюнхен в Монте-Карло — “Бонуит-Теллер” — Новая европейская война — Битва между мадемуазель Шанель и мсье Кальве — Возвращение в Испанию — Лиссабон — Открытие машины для фотографирования мыслей — Космогония — Вечная победа акантового листа — Возрождение	540
<i>Эпилог</i>		574
<i>Примечания</i>		578

*Гале-Градиве —
той, что ведет вперед*

Неужто же я не гений?

В шестилетнем возрасте мне хотелось стать кухаркой, когда мне стукнуло семь лет — Наполеоном. Надо сказать, с того времени мои честолюбивые амбиции не переставали расти — точно так же, как и моя тяга к величию, граничащая с манией.

В своем “Дневнике” Стендаль приводит высказывание одной итальянской герцогини, которая в некий особенно знойный летний вечер с наслаждением вкушала мороженое: “Какая жалость, что это удовольствие не принадлежит к греховным!” А ведь когда мне было шесть лет, съесть что-либо на кухне представляло собой тяжкое прегрешение. Вообще-то, даже входить в эту часть дома мне не разрешалось — это было одно из немногих деяний, беспрекословно запрещенных родителями. Припоминаю, как целыми часами, глотая слюнки, я ожидал роскошной минуты, когда смогу проскользнуть в эту юдоль безумных наслаждений. И вот мне, наконец, удавалось проникнуть в заветное местечко, после чего я, сопровождаемый вскриками и хохотом ку-

хонной прислуги, похищал с вертела кусочек сырого мяса или же гриба и пожирал его, рискуя не только поперхнуться, но и обжечься, но испытывая неописуемое, щемящее волнение и счастье, которые вдобавок многократно усугублялись ощущением моей вины.

Если исключить запрет входить на кухню, мне разрешалось почти все. Я писался в постель чуть ли не до восьми лет — из чистого удовольствия. Для меня не было ничего невозможного, и никакая вещь, купленная мне, не была достаточно красивой для такого чудесного малыша, как я. Родители просто боготворили меня. На праздник Трех королей¹ среди бесчисленного количества прочих подарков я получил восхитительный костюм короля с золотой короной, усыпанной топазами, и накидкой или же мантией, которая была обшита, как мне казалось, настоящими горностаями. У меня потом долго хранился этот маскарадный костюм, подбитый кроваво-красным шелком, — сие облачение подчеркивало мою избранность и исконную принадлежность к королевскому роду. Изгнанный из кухни прислужгой, которая была послушна распоряжениям хозяев, я частенько торчал в полумраке коридора, одетый в свой королевский убор, со скипетром в одной руке и хлыстом в другой и, дрожа от страха, рисовал в воображении картины того, как я буду, не жалеючи, стегать этих мерзких негодяек-стряпух, которые вечно издеваются надо мной, да еще при этом насмеха-

ются. Большинство этих околожухонных сцен почти всегда разыгрывалось ближе к полудню, в ту томительную пору летнего дня, когда в спертom воздухе рождаются миражи и призраки. Спрятавшись за приоткрытыми дверями кухни, я слышал, как носятся туда-сюда эти бабищи с красными ладонями, похожие на неведомых животных, я замечал их могучие зады, видел встрепанные волосы, развевавшиеся, словно конские гривы. Из полуденного зноя, из беспорядочных отзвуков кухонной суеты в мои ноздри бил кисловатый дух пропотевших женских рубах, к которому примешивались запахи подвявшего винограда, чего-то жарящегося на оливковом масле, пуха, выщипанного из кроличьих подмышек, почек, майонеза, а также многого иного — словом, запах ароматных предвосхищений скорого обеда, на которые неизвестно откуда налагалась резкая конская вонь. Освященные солнечным лучиком, который протыкал клубы дыма и мух, взбиваемые яичные белки поблескивали, словно та серебрящаяся пена, которая появляется на губах исхлестанных кнутом лошадей после долгой скачки в пыли. Как уже говорилось, я был ребенком избалованным и даже испорченным...

За три года до моего рождения в возрасте семи лет умер от менингита мой брат. Родители были в полнейшем отчаянии. Их утешило только мое появление на свет. Я был похож на покойного брата, словно две капли воды: та же самая печать гения на

лице*, то же выражение беспричинной тревоги, которое бывает у ребенка, развившегося слишком рано, что не может не беспокоить и его самого, и, разумеется, родителей. Все-таки мы с братом различались некими психологическими чертами; кроме всего прочего, у него был подернутый меланхолической томностью взгляд, полный “непроницаемой” задумчивости. Я был далеко не так смышлен, как мой братик, зато в противоположность ему наделен, — возможно, в качестве компенсации — способностью впитывать и отражать весь этот мир. Мне суждено было стать прототипом, или первообразом, — причем во всех смыслах этого слова — существа “всесторонне извращенного”, феноменально запоздалого в своем развитии и хранящего в первозданном виде реминисценции из эрогенных райских куш младенца. Я прикинул к удовольствиям с не ведающей ограниченной эгоистической жадностью, и при самой минимальной попытке ограничить эту жадность становился опасным. Однажды вечером я жестоко, до крови расцарапал шпилькой щеку моей любимой кормилице, поступив так исключительно потому, что лавка, где она должна была купить мне “сахарные луковички”, которых я добивался невероятным

* С 1929 года у меня появилось ясное сознание собственной гениальности, но я признаю, что, хотя это сознание все крепче укоренялось в моем разуме, оно никогда не вызывало у меня эмоций из разряда возвышенных. Зато я должен честно сознаться, что понимание собственной гениальности относится к разряду необычайно приятных ощущений. Так бывает из-за его стабильности: ведь гений навсегда остается гением.

криком и визгом, оказалась уже запертой. Посему я, вне всяких сомнений, был жизнеспособен. Мой брат оказался всего лишь первой попыткой создать меня самого, но, увы, попыткой, предпринятой на чрезмерно далеких, недостижимых высотах абсолюта.

Сегодня мы знаем, что форма всегда есть результат поисков со стороны материи, итог реакции вышеупомянутой материи на ее порабощение пространством, которое душит упрямую материю со всех сторон и заставляет ее искать слабинку и выразиться во всякого рода вспученностях и завихрениях, которые оказываются переполненными жизнью до границ возможного. Сколько же раз бывает так, что материя, одушевленная и призванная к жизни уж слишком идеальным порывом, в конечном итоге уничтожается или бывает погублена? Материя, амбиции которой поскромнее и которая в большей мере способна к приятию удовольствий, уступает тиранизирующему пространству лишь в том случае, если поддается сущности своей первичной формы. Существует ли на свете что-нибудь более легкое, более прихотливое и фантазийное, нежели разветвленное цветение минеральных кристаллов какого-нибудь агата или горного хрусталя? А ведь эти неживые цветы являются результатом принуждения, обрушивающего гигантское насилие на “коллоидную среду”, которая заключена в жесткую структуру и подвергается всяческим попыткам сжатия. Самые delicate, самые эфемерные нервные клетки, окончания и сгустки этой материи являются всего лишь агонизи-

рующими и полными отчаяния судорогами вселенской субстанции, которая преобразуется в терминальную растительную форму минерального мира. *Но это же самое справедливо и для розы!* Каждый цветок вырастает и распускается в чем-то вроде тюрьмы. Свобода всегда бесформенна. Морфология (да славится Гете за изобретение этого слова с его совершенно непредвиденными последствиями, которые наверняка очаровали бы Леонардо), так вот, именно морфология научила нас в последнее время, что царствие наиболее суровых иерархий разных форм триумфально рождается как раз из наиболее анархистских, неоднородных и раздираемых противоречиями тенденций².

Умы, узкие и ограниченные, сгорели в пламени костров Святой Инквизиции, в то время как умы разносторонние, гибкие и анархистствующие нашли в блеске языков того же самого пламени возможность развития и развертывания своей духовной морфологии. Мой брат, как я уже упоминал, обладал одной из тех непроницаемых и действующих только в одну сторону форм интеллекта, которые неспособны отражать действительность и обречены дотла сгореть в собственном пламени. Я же — в противоположность ему, причем и об этом я тоже упоминал, — был и являюсь личностью всесторонне извращенной, запоздалой в развитии и анархистствующей. Всякий раз, когда я в детстве что-либо понимал или осознавал, этот акт материализовался в форме приступов чревоугодия, а каждый приступ обжорства разными вкус-

ными вещами преобразовывался в некий проблеск сознания. Все оказывало на меня влияние, но ничто меня не изменяло. Я был мягким, трусливым и отталкивающим. Подвергаясь воздействию строгостей испанской мысли, мой любопытствующий разум сам должен был отыскать наиболее совершенные формы кроваво-красных и скрученных древоподобных кристаллов гениальности. Родители окрестили меня Сальвадором, как в свое время и моего почившего брата. И уже само значение этого имени³ указывает: мое предназначение состояло в том, чтобы — ни больше и ни меньше — спасти Живопись, вырвать ее из бесплодного вакуума современного искусства, причем вдобавок ко всему мне было велено свершить сей акт спасения в нынешнюю эпоху катастроф и в том механистическом и полном ничтожеств мире, где мы имеем несчастье и честь жить. Когда я обращаюсь к прошлому, то такие фигуры, как Рафаэль, видятся мне отнюдь не людьми — нет, исполинами, словно бы принадлежащими к сонму истинных богов. Несомненно, только я один в состоянии понять, почему сегодня не удастся хотя бы в ничтожной степени приблизиться к совершенству рафаэлевых форм. Да и мое собственное творчество является моему внутреннему взору как одна сплошная катастрофа. Сколь страстна моя жажда жить в эпоху, когда не нужно было бы никого и ничего спасать! Однако, обращаясь к Сиюминутности, спешу сказать, что, хотя я и весьма далек от недооценки специализированных форм интеллекта, значительно

превышающих мой собственный, я бы ни за что на свете не хотел поменяться местами и индивидуальностями ни с кем из живущих ныне.

Только одно существо на свете достигло той полноты жизни, которая по своей сути и смыслу сопоставима с безмятежными совершенствами Ренессанса. Этим существом является моя жена Гала⁴, которую я имел невыразимое счастье выбрать. Ее мимолетные состояния души, тот способ, каким она выражает свою многогранную личность, — все это есть самая настоящая Девятая симфония⁵, отражающая архитектурные контуры идеально совершенной души, которая кристаллизовалась в благодати ее тела, в пахучей шелковистости кожи, в морской пене иерархического устройства ее прекрасной жизни. Упорядочиваясь и фильтруясь самыми нежными градациями чувств, эти мимолетные состояния, эта экспрессия личности материализуются — и образуют безупречное сооружение из плоти и крови. Посему я могу сказать, что Гала сидящая обладает тем же очарованием, что и часовня Темпьетто, которую возвел Браманте во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио в Риме⁶. Следуя по стопам поступков Стендаля в Ватикане, мне тоже было дано измерить стройные и изящные колонны гордости Галы, оценить чувствительные и вместе с тем упрямые балюстрады ее детства и прошагать божественными ступенями улыбки. Украдкой восхищаясь Галой в те моменты, когда она не знает, что я поглядываю на нее, — это бывает во время длинных часов работы, которые я

провожу, полуприсев на корточки перед мольбертами, — я повторяю себе, что она выписана и проработана так же хорошо, как картина Вермера⁷ или Рафаэля, и этим отличается от прочих окружающих нас людей, настолько не доделанных и не доведенных до конца, настолько банально смоделированных, что они похожи не на представителей рода человеческого, а скорее на небрежные карикатурные наброски, которые поспешно накалякал на террасе дешевого кафе какой-нибудь умирающий с голоду художник.

В семилетнем возрасте я хотел стать Наполеоном... Надо объяснить это желание. На втором этаже нашего дома жила аргентинская семья Матасов. Одна из их дочерей, Урсула Матас, была сказочно красивой, и в устных преданиях Каталонии 1900-х годов ее считали прообразом прекрасной Каталонки из книги Эухенио д'Орса⁸ “Дивно сложенная”. В начале седьмого года жизни второй этаж нашего дома стал воздействовать на меня в либидуально-салонной плоскости. Теплыми летними вечерами, когда начинало смеркаться, я подолгу неподвижно торчал на террасе до того момента, когда едва слышные отзвуки, доносившиеся с расположенного надо мной балкона, позволяли питать надежду, что вот-вот там откроются большие застекленные двери. На втором этаже меня обожали столь же сильно, как и в собственном доме. Около шести вечера в салоне вокруг монументального стола, на котором высилось чучело аиста, собирались потрясающие личности с аргентинскими прическами и акцентом, чтобы пить матэ⁹.

Матэ передавали не из рук в руки, а из уст в уста — в большом серебряном сосуде с носиком, из которого каждый по очереди потягивал целебный напиток. Эта телесная близость через посредство губ вызывала у меня невероятную сумятицу чувств и пробуждала в душе целые вихри духовных беспокойств, среди которых уже посверкивали белым пламенем первые алмазы ревности.

Когда подходила моя очередь, я тоже посасывал этот прохладный напиток, который на мой вкус был слаще меда, — а мед, как известно, слаще самой крови. Ведь моя мама, моя кровь, всегда присутствовала при этой почти обрядовой церемонии. Таким образом, мое становление как члена светской компании происходило на пути триумфального шествия эстафеты общения из губ в губы, а у меня при этом возникало подспудное желание не только пить напиток Наполеона, но и испить его чашу. Вы спросите, при чем здесь Наполеон? Да при том, что великий император тоже постоянно пребывал в салоне Матасов на втором этаже — если не собственной персоной, то в виде цветного изображения на боку того небольшого деревянного бочонка, где держали основной запас матэ. Этот Наполеон, гордый, словно олимпийский бог, с аппетитным белым брюшком, щечками телесно-розового императорского цвета и в лихой черной треуголке, с большой точностью отвечал тому представлению, которое я питал о себе как о монархе, — будь то король или же император.

В ту пору часто пели такую песенку:

*Наполеон в свой час финальный
Себя вел просто колоссально.*

Изображение на боку бочонка завладело моим разумом до такой степени, что сам этот бочонок напрочь исчез из памяти, — так же как позже на одной из моих картин исчезла тарелочка, а осталось только лежавшая на ней яичница¹⁰. Причиной возникновения бурного желания получить повышение и из кухарки стать императором был как раз тот аппетитный Наполеон, которого мы пили в образе матэ. Аналогично, мои первые эротические эмоции, которые я испытал при виде женщин-кобылиц, рысью пересекавших нашу кухню, незаметно оказались подмененными образом дышащей мягким спокойствием красавицы Урсулиты Матас — этого архетипа¹¹ красавицы образца 1900-го года. Позже мне, надеюсь, представится возможность объяснить и детально описать “мыслящие машины” моего собственного изобретения. В частности, одна из таких машин опирается на идеи этого питейного Наполеона, в котором материально воплотились два фантома моего раннего действия: мания на почве губ и ослепительный духовный империализм. В совокупности они позволяют понять, почему пятьдесят чашек теплого молока, прикрепленных к креслу-качалке, являются в моем мозге точным эквивалентом пухлых ляжек Наполеона, и каким образом это мое представление смогло стать истиной, очевидной для всех¹². Никто

из людей, наделенных доброй волей, не может в этом сомневаться. В последующих главах этой невероятной, немыслимой, но все-таки существующей книги я объясню как данное явление, так и многие иные вещи, еще более странные, но отнюдь не менее правдивые. Во всяком случае, одно можно сказать с полной достоверностью: за все, абсолютно все, о чем здесь будет сказано, несу ответственность исключительно я.